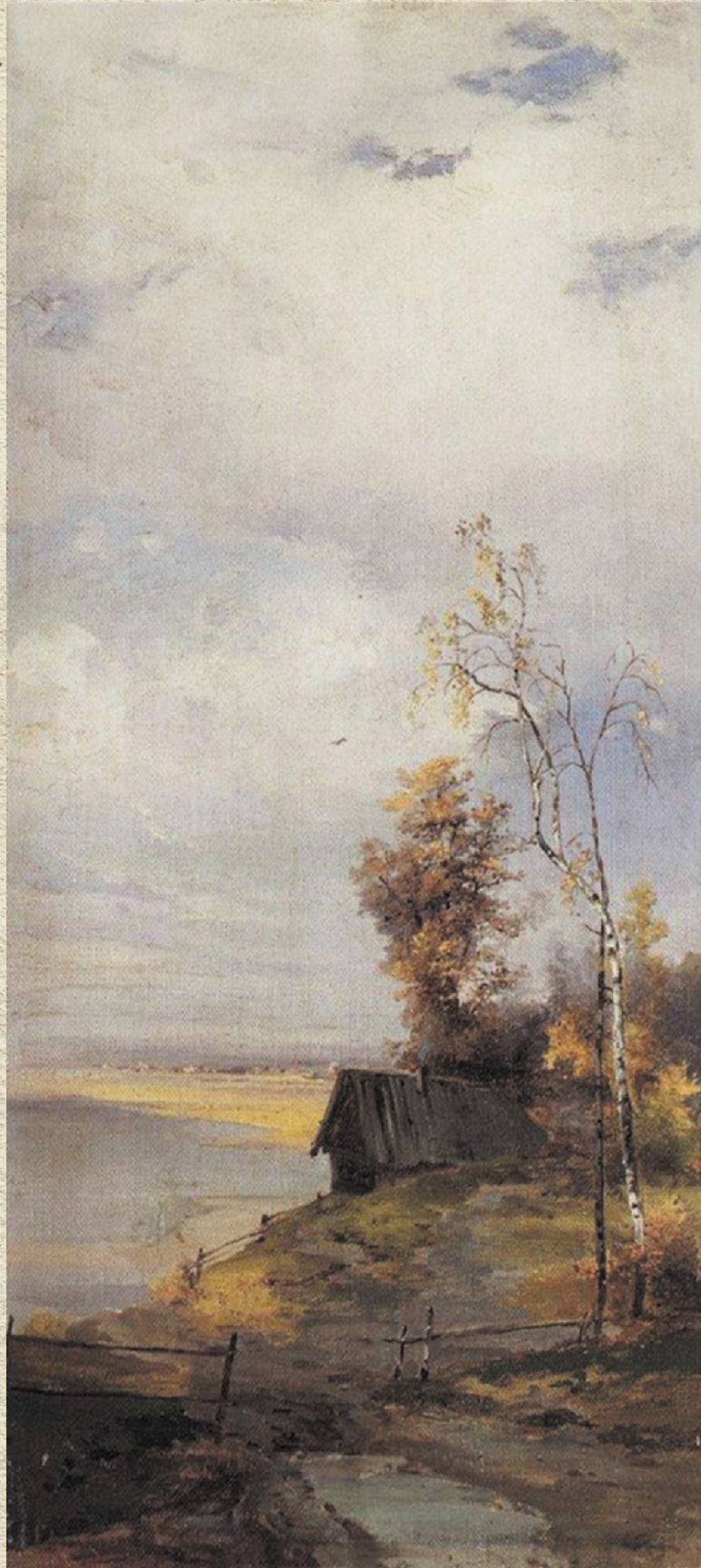


сергей скорик



ПИСЬМО ИЗ ДЕРЕВНИ

Сергей Скорик

Письмо из деревни (сборник)

«У Никитских ворот»

2017

УДК 82-3
ББК 84(2Рос=Рус)6

Скорик С. М.

Письмо из деревни (сборник) / С. М. Скорик — «У Никитских
ворот», 2017

ISBN 978-5-00095-315-0

Сборник коротких художественно-философских рассказов от первого лица, раскрывающих опыт перемещения из мира города в мир покинутых человеком деревенских полей, деревянных домов, печей, над которыми всегда и очень упорно присутствует Небо... Оно, как и всё под ним пребывающее, не нуждается ни в человеке, ни в его душевности, ни в грандиозном размахе его творческих и хозяйственных планов. Напротив, впуская человека в свою глушь и даль, Природа посвящает в свои замыслы, возвращает нас к Бытию. И если мы найдём в себе немного решимости преодолеть притяжение асфальта и ступить на Просёлок, покинуть свои привычные пределы, то оттуда, из деревни, откроется вид на то, что осталось у нас за спиной, – мир города, вдавленный углами улиц в поэзию Верхарна.

УДК 82-3
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-00095-315-0

© Скорик С. М., 2017
© У Никитских ворот, 2017

Содержание

Дом	6
Времена года	9
Клеймёново	14
Дорога	16
Конец ознакомительного фрагмента.	18

Сергей Михайлович Скорик

Письмо из деревни

Посвящается М.Ш.

© Скорик С.М., 2017

© Оформление. ИПО «У Никитских ворот», 2017

* * *

Дом

Взгляни на деревянный дом.

Помножь его на жизнь. Помножь на то, что предстоит потом.

И. Бродский

I

В деревню я попал совершенно случайно, неожиданно для самого себя. Следует признать, что первые тридцать лет жизни был я абсолютно городским человеком, равнодушным к природе, скитался по городам, меняя квартиры. Того, что называлось непереводаемым русским словом «дача», у моих родителей не было, и если я и любил что-то помимо городских аллей, так это море, летнее южное море. Всяческие описания природы в классической литературе я пролистывал и опускал, как докучавшие и бесполезные; мою душу они совершенно не трогали. Поэтому Бунин и Тургенев были так же далеки и безразличны мне, как и Тютчев и Фет. Я и поныне убеждён, что многие «романтические» природные пейзажи в слове, будучи личными переживаниями автора, требуют от читателя, запертого с книгой в стенах своей квартиры, определённого терпения и собственной причастности, погружения и посвящения, без которых их трудно воспринять¹. Меня и сейчас не оставляет уверенность, что Тургенев нигде так не звучит – ни на какой городской скамейке – как звучит он в его родной усадьбе, имении Спасское-Лутовиново, где от соприкосновения с землёй открывается исток тургеневского языка и природа воплощается вот здесь, из слова, «язычески», «до-словно». (Забегая вперёд, можно упомянуть и ту пропасть, что отделяет природу как явление романтическое, требующее душевного отклика и красок настоящей живописи, и потому с трудом вменяемое в слово, – от природы, понятой по-гречески, как восхождение бытия, словно нечто сокрытое, исходя из недр земли, про-исходя перед нашими глазами, являет своим видом вверенную ему идею, предназначение, сущность.)

Поначалу это были короткие летние «вылазки за грибами». Постепенно они расширились до недельных, месячных погружений, охватывая весну и осень, пока наконец круг не замкнулся регулярными зимовками. Я сдал свою городскую квартиру в аренду и перебрался в деревню. Каким-то непостижимым образом маленький одинокий дом², молчаливо смотрящий окнами на север и поглощённо впитывающий густую тишину, на немислимых весах бытия перевесил огромный, наполненный бурлящей жизнью город. «Муляжи жизни» – скажет Рильке о *потерявшем свою природу*, отклонившемся, отшатнувшемся, отступившем так далеко от истоков, что никакие корни уже не питают, не дают свою силу и не наполняют своими соками это отчуждённое подобие жизни в его от-важенности и от-верженности.

Когда я попадал в город, меня настигало чувство сновидения или абсурда, вызванное той бездной, которую я каждый раз перешагивал, выступая в путь и уносясь прочь от своего деревенского центра, полюса, от невидимой *axis mundi*, мировой оси. Город захватывал и раство-

¹ Ср. эти строки с впечатлением Александра Гениса, который сопоставляет тургеневский стиль с традицией Востока: «Если бы речь шла о Тургеневе, мы бы сказали: пейзаж соответствует эмоциональному состоянию персонажа, “сопереживает” ему. Но на Востоке человек и есть природа – она грустит в нём, а не с ним. Тут нет человека вне природы, нет и природы вне человека».

² Дом, о котором идёт речь, – настоящий, деревенский, оставленный крестьянской семьёй в наследство новой, постперестроечной эпохе. Не смея присваивать себе судьбоносные исторические строки Максимилиана Волошина, всё же признаюсь, насколько они мне сокровенно близки, насколько я разделяю выраженные в них чувства: Я принял жизнь и этот дом как дар-Нечаянный – мне вверенный судьбою. Как знак, что я усыновлён землею.

рял, «растирал» в своей движущейся суете, заставляя забыть о моей прищлости, инородности, о моём чужестранстве. Город уравнивал и поглощал толпой, трамбовал сутолокой, заставляя поверить в свою реальность. Обратный путь был всегда *возвращением к себе*, в свой скит, свой *лад*, – это был прыжок ныряльщика в океан тишины. Здесь всё ожидало меня в своей неизменности: в своём старообрядческом порядке прижимались поленья к южной стене, и дом, молчаливо наблюдающий глазами окон за ростом липы, её летним цветением или осенним опаданием, словно приглашал меня присоединяться к тихому созерцанию.

Мы всматривались в противостоящий склон оврага, внимая его виду, скользили взглядом вдоль поперечных овражков, прослеживая линии их складок, изучали цвет земли, тонули в стущающейся глубине зелени листвы. Лес, прижимающийся к дому с запада, затаённо молчал или шептался своими нечеловеческими голосами, шелестами, размахивая рукавами веток и покачивая кронами. Лес что-то рассказывал дому, и дом сосредоточенно слушал, внимая его голосу. Порою лес неистовствовал, бушевал, тревожился и сетовал, метался из стороны в сторону, скорбил и молил, пронзительно взывая, наконец, застывал на закате, смирившись перед ликом судьбы, словно прощаясь с уходящим солнцем, словно соглашаясь с его прощальной красотой.

О, эти разливы тишины на исходе дня, это стихание стихий, это внезапное замирание, оцепенение, погружение в молитву, глубокое успокоение, умиротворение, эта пауза, затишье немоты, выпивание последнего мига, последнего луча света, причащение единому исходу, – гефсиманское испытание чаши, жертвенное смирение, тайна разлуки!.. В эти минуты тёплыми летними вечерами я выходил на прогулку, насыщаясь ясностью и просветлённостью пейзажа, тонкостью его черт, особой проявленностью гармонии. Я наполнялся покоем и молчанием, открытостью и сопричастностью всему окружающему – маленькому кусочку мира, собранному воедино своими горизонтами.

С наступлением ночи из тишины просыпались голоса птиц, являлась музыка. И музыка, и лад, и строй, и стих проявляют себя через *стихание*. Всё это есть *самораскрытие тишины* – оно восходит из тишины, удерживается тишиной, беседует с тишиной. *Так* поют птицы. С наступлением ночи поэзия пейзажа сменялась звучанием музыки. К этому моменту я обычно возвращался к дому, и мы вслушивались в пение птиц. Взошла луна. Проступали первые созвездия. Вместе с домом, вооружённым телескопом печной трубы, мы читали небо.

Дни сменялись ночами, верша суточный круговорот. Дни становились короче, уступая место ночи. Наступала зима, вытесняя лето, выстуживая и заметая землю. Замирание жизни представало всеобъемлющим и зловещим *застыванием*. Месяцами не показывалось солнце. Стылые вьюги предавали забвению луга и пашни, укрывая прежний лик земли покрывалом белизны. Звонкий весенний экстаз и тягучая осенняя скорбь казались равно забытыми. Мой скит стоял, увязая по колено в снегу, попыхивая струйкой дыма. Обступившие его старые ракиты, словно низведённые титаны, протягивали свои голые ветви, испрашивая тепла. Но дом не замечал их, на долгие месяцы погрузившись в себя.

I

Деревня, ставшая моим пристанищем, расположена на коротком отрезке, соединяющем родовое гнездо Тургенева с местом захоронения Фета. Возможно, это обстоятельство символизирует то напряжение между жизнью и смертью, которое открылось мне в природе этих мест, то противоборство забвения и памяти, как удержания и непрерывного возвращения. Жизнь постоянно возвращается, стирая прошлогодние следы, лишь дерево и дом выстаивают в своей неизменности да ландшафт хранит свою форму. Ландшафт – вот, пожалуй, то единственно общее, что есть у меня с Тургеневым и Фетом, – единственно оставшееся наследство, которое я готов вос-принять.

Необъятная ширь обзора, открытость высям неба и далям земли, распаханность свойственны моему ландшафту. С высокого склона оврага взор вбирает просторы оставленных, дичающих полей, постепенно зарастающих лесом, возделанные пашни, обрамлённые узкими лентами посадок, плотные массы утекающих к горизонту лесов. Взгляд ловит мягкие складки холмов, сглаженные потоками вод переливы возвышенностей и впадин, плоские глади равнин, паруса плывущих над ними облаков, очертания лесных границ и каждое одиноко стоящее дерево в его свободе, величии и красоте.

Лишь огромный, как бездна, овраг, разъявший и разделивший собою две равнины, нисходит вертикальным провалом к недоступным глубинам, храня первозданную дикость и нетронутость. Туда скрывается всякий зверь, туда отступала под натиском человека природа, оттуда она вышла обратно, в открытость покинутых полей. Густой лес, теснимый оврагом вниз в плотную светонепроницаемую чашу, покрывает его склоны, заканчиваясь у той невидимой черты, где овраг начинает разглаживаться, раскрываясь и нисходя к реке. Здесь, на открытости своих склонов приютил овраг мою деревню.

В прошлом обильная и деятельная, деревня полностью опустела ко времени моего приезда. Мне оставалось наблюдать, как природа возвращается на своё исконное место, захватывая брошенные человеком уголья. Сырость и пожары безжалостно расправлялись с покинутыми избами, съедая их тленом и огнём, остатки пожарищ и руин исчезали под покровом зелени. Огороды зарастали крапивой и травой, изгороди сгнивали и падали, железо ржавело, камни оседали и втягивались землёй. Природа тщательно скрывала человеческие следы, принимая в своё лоно лишь прах.

В каждой местности бытийствует свойственное ей и вытесняется несвойственное. Город снисходительно впускает в свои пределы немного зелени (немного жизни!), властно подчиняя её своему порядку. Городской сад ис-хожен и при-гожен человеком – он несёт тяжёлый отпечаток города и его культуры, обнаруживая всю ущербность отпущенной ему свободы. Город-сад навеки остаётся утопической мечтой. Также и природа – смиренно впускает человека в свой храм и терпит его присутствие до тех пор, пока человек прислушивается и понимает её бытие, пока умеет чтить сокровенность бытия, пока он сам согласуется с бытием. Пересекая околицу, как границу сопричастности, мы пресекаем связь с Истоком, уходя в неприступность и замкнутость само-воления, надменно перешагивая в туманную непроглядность за-бытия.

май 2011

Времена года

*Так за флейтой настойчиво мчись,
Снег следы заметёт, занесёт...*

И. Бродский

Времена года, пожалуй, самое первое, о чём хотелось бы говорить. О том, как неумолимо влечёт природу от весны к зиме скрытая сила. О том, как летом стремительно всё разрастается и заполняет пространство зелёной массой, этим потоком жизни, одной на всех, и как легко, как быстро и беспощадно всё исчезает осенью, чтобы зима, опустошившая землю, изнурительно долго тянула свой заунывный вой. В детстве меня больше всего восхищала весна с её цветением, с её радостным журчанием талой воды, с возвращением птиц. Всё это так трепетно и вдохновенно было передано на саврасовских полотнах! Я искренне ценил лето за обилие тепла и света, за солнечную мощь, дающую чувство открытости и комфорта. Значительно позже я полюбил осень, раннюю осень за её дивную красоту, за богатство красок, за шуршание листьев под ногами, за её тонкую печаль, за тёплый сухой ветерок, за запах дыма костров. Зима с её пушистым снегом, сугробами, лыжами, с её гигиенической чистотой – она всегда была близка и желанна. Но вот ноябрь – этот мрачный, дождливый месяц, это серое и унылое межсезонье... Я никогда не любил ноябрь, месяц, в который я был рождён.

Сейчас, когда я пишу эти строки, стоит ноябрь. Это мой заветный месяц. Самый тайный из всех, самый сокровенный. Я приезжаю в свой дачный дом в ноябре, чтобы побыть здесь одному, наблюдая за природой. Здесь, в заброшенной деревне, благодаря приютившему меня дому я *увидел* ноябрь. Вглядываюсь в его суровое изветренное лицо и проникаюсь молчаливостью и одиночеством. Мертвенность лика свидетельствует о близости смерти. Скучность чувств, словно непроницаемая маска, покрывает откровение внутренних глубин. Вдумчивая тишина и аскетичность отвечают состоянию *зрелости*.

Теперь, когда круг исполнился, я готов говорить о четырёх сезонах, ведь неизбежное и постоянное вращение колеса времени лежит в основе расцвета и падения всех цивилизаций, в основе развития искусства, в основе каждой человеческой жизни. Но я не хотел бы касаться цивилизации, искусства или человеческих судеб. Я готов говорить о самом простом, о природе, о деревне, о фруктовом саде, печке, огороде. О том, что составляет изначальную сущность нашей жизни, без её интеллектуальных построений, хитросплетений мысли, без изыска, без воображения. Отсюда и стиль моего рассказа. Я не стану садиться и выдумывать, вспоминать, поднимать и укладывать заново прошлое, которого уже нет, чтобы добиться литературного блеска. Зачем нужны искусственные построения из вороха прожитых дней? Вместо этого будут говорить в своей наивной весенней простоте мои «дачные хроники», кусочки реальности, сохранённые на клочках бумаги в тот момент, когда они были ещё живы. Они будут говорить, как могут, о таинственном восторге *возвращения* к природе. И по мере приближения к концу рассказа, концу года, взгляд, достигнув своего предела и всматриваясь в лик зимы, будет преображаться. Ведь встреча с зимой и есть то событие, что раскрывает и выстраивает мир по-новому, словно помещая его в необратимый поток времени, в постоянное напряжение полюсов рождения и смерти.

Но сначала – небольшая прелюдия. Прелюдия – это то, что предвосхищает саму игру (*ludus*), предвестие игры. Игры, в которой всегда участвуют четыре действующих лица, четыре маски. Они всегда выходят на сцену до нас, чтобы подготовить нашу драму. И, по сути, кроме выхода этих четырёх сменяющихся друг друга стихий ничего больше и не происходит, никаких «эпизодических ролей», в которые мы могли бы вписаться, больше нет. Обо всём и без остатка сказано уже в прелюдии. Мы выходим на сцену, по большому счёту, лишь для того, чтобы...

отождествить себя с этой игрой. Поддержать представление заранее написанной драмы. Мы всегда опаздываем – прелюдия сыграна до нас, все роли уже расписаны. Мы всегда вторичны по отношению к чьей-то изначально придуманной игре. В лучшем случае мы можем только осознать это своё опоздание и занять место в зрительном зале. Стать наблюдателем, наблюдающим своё *отсутствие* на сцене, – вот предел наших возможностей. Ведь, кроме хоровода из четырёх пар сцепленных рук, на сцене не происходит больше ничего, и никакого зрителя, наблюдающего за этим хороводом, фактически тоже нет, а есть только кружение (жужжание скрипок, свист метели в нотах «рыжего священника» Вивальди, натиски ветров в операх Перселла), в котором всё становится едино.

Романтически настроенный век – век романтизма – не согласился с таким замыслом (или просто в него не проник). Он вышел на сцену с претензией на собственную драму и выдвинул некоего своего мятежного *героя*, отбрасывающего ветхий парик и неистово рвущего на груди рубаху, которая мешает самораскрытию романтической души. Вместо вечной «игры четырёх» на сцене появились некие «люди», пытающиеся сказать что-то «от своего лица», заявить о своих «высоких чувствах». Вместо барочной скрипки Вивальди на сцену торжественно выкатили огромный рояль, за который уселся Бетховен, а потом Чайковский, намереваясь поведать нам о Природе и Временах Года своим романтическим языком (языком лейтмотивов, а на самом деле подменяя природу как таковую психическим актом, саморефлексивным переживанием «композитора» и «исполнителя» – «героя»). И мы, зрители, внимали и слушали, следили за их игрой, пока отпущенное им время не прошло и занавес не упал.

Позвольте же теперь, в наш постромантический век, убрать со сцены рояль и на опустевшее место впустить всё тех же *главных* четырёх действующих лиц, одетых в их собственные костюмы, которых для начала полагается в быстрых набросках читателю представить. В их облике нет ничего принципиально нового, ничего такого, что могло бы удивить и что читателю было бы не знакомо. Напротив, эти маски архаичны и стары, как мир. Но мы тем не менее воспроизводим их снова и снова, потому что они снова и снова выходят на сцену... И если в тему нашего вступления всё же вплетаются романтические нотки, то это оттого, что мы – далёкие потомки романтизма – несём в себе отголоски прошлого века, доставшиеся нам в наследство.

Весна

Весна начинается в мае. Увы, как поздно!

Как долго музыканты настраивают свои звонкие, ручьями журчащие струны, чтобы озвучить приход Прозерпины... Затяжное ожидание предшествует явлению этой Вечно Юной Девы. В апреле ещё лежит снег, томимый солнцем, под которым скована сном промёрзшая земля. Только в начале мая всё вдруг вспыхивает, оживляется свежей зеленью, земля просыпается, чтобы перво-наперво напиться талой воды. Земля просыпается, чтобы вместе с испарениями отдать свой запах – запах прошлогодней гнили и новой жизни одновременно... Запах весны! Её флюиды повсюду, и от них кружит голову и наполняет желанием... Словно кто-то властно приказывает:

«Жить!» В тело вливается струя живой силы, и эта же всеобщая воля к жизни заставляет листья раскрываться, а брошенные в землю семена набухать. Чёрная, вспаханная, влажная земля уже беременна новым семенем, хоть пока ещё отста-

ёт от рвущейся наружу, к солнцу, листвы деревьев. Долгожданна и приятна весенняя встреча с землёй, эта усталость, накопившаяся к закату, вид свежевскопанных участков, ровных грядок, вкус воды и молока на засохших губах...

Начало мая – это анонс будущего пира, который пока только в проекте, только предполагается. Выход конферансье. Однако всё живое точно знает, что решение уже принято и пиру быть. И поэтому всё без оглядки бросается в весенний омут, в широкий разлив реки, словно в

каком-то счастливом опьянении участвуя в дикой оргии, в мистерии Весны. Первыми возвращаются на свои места птицы и оглашают пока свободное, ничем не заполненное пространство своими мажорными голосами – на сцене появляется хор. Постепенно воздух наполняется запахами цветущей черёмухи, сирени, одно за другим непрерывным потоком расцветают фруктовые деревья, добавляя в пространство красочные декорации. Весь май Весна празднует свадьбу, наряжая своих невест в нерукотворные, ослепительной красоты платья. Которым, однако, по взмаху дирижёрской палочки в один момент придётся слететь, осыпаться, исчезнуть, чтобы уступить место обычному зелёному фартуку, несущему труженическое бремя брачной жизни.

Как хочется сохранить всё это весеннее чудо, остановить мгновение! Какой соблазн возникает внести в этот дивный весенний сад фотоаппарат и опубликовать первые снимки, чтобы впоследствии прочесть такие полные понимания слова: «Рассматривая фотографии, испытываешь необычные уже ощущения: *там* всё наполнено тишиной и отчуждённостью; мягкие краски заходящего солнца, робкие подснежники, немного стыдливая весна и берёзки. Я представляю дом, голенькую травку, кучу веток и густой белый дым, неторопливо поднимающийся вверх. Везде тишина; безмолвие. Люблю просто сидеть и смотреть. Ни о чём не думать. И быть кусочком этого огромного мира».

Лето

Летом природа царственно-валяжна, уверена в себе, невозмутима. Свежесть и сила бьют отовсюду, заполняя всё свободное место однообразно-зелёной все-вытесняющей биомассой. Зимнее целомудрие, весеннее зачатие сменяются неудержимой экспансией, мистерией роста и плодоношения. Витальность природного организма теперь выражается в его повсеместном распространении, внедрении, наращивании плотности и плоти до тех пор, пока всё не сольётся в один колышущийся и плещущийся океан жизни. После дождя зелень промыта, небо наполнено голубизной, луговые травы и цветы насыщают воздух целебными ароматами. И кажется в какой-то точке, в истоме Лета, что этому благополучию и сытости не будет конца, что вот оно (Лето) уже победило, заполнило, озеленило, насытило собою всё вокруг и отныне будет длиться вечно, безраздельно царствовать, утверждая живую делящуюся клетку и принцип фотосинтеза...

Осень

*Скоро осень, всё изменится в округе.
Смена красок этих трогательней, Постум,
Чем наряда перемена у подруги.*

И. Бродский

Середина сентября. Стоят осенние дни дивной красоты. Природа на последнем, предсмертном выдохе – ещё всё зелёное, но какие-то неведомые силы, которые недавно вдохнули жизнь, уже отозваны, уведены, возвращены обратно к своим истокам. Изнутри всё уже тронут увяданием, и едва заметная печать смерти уже выступила на лице природы. Совсем скоро всё умрёт, чтобы возродиться весной. Солнце рассеяно в облаках, и облака пропитаны солнцем, особой ясности воздух, свежий, упругий, наполненный светом и запахами земли, трав. Закаты (неописуемой красоты!) каждый день разные. Пришло время собрать урожай, заготовить дрова на зиму, дать ремонт печкам.

Октябрь. Густо-зелёный сосновый лес, вклинившийся в пепельно-золотую осиново-берёзовую рошу, где осины уже сбросили листву и создают пепельно-серый фон, а ещё не вполне облетевшие берёзы вкраплены ярко-жёлтыми островками золота... И всё это несметное богат-

ство аккуратно обрамлено коричнево-шоколадной полосой пашни, а рядом – сочно-зелёные поля с поднимающимися озимыми, разделённые тонкими золотистыми полосами посадок. Среди всего этого великолепия величественно и плавно делает поворот тёмная, как земля, но блестящая, как зеркало, река. Чернеющий сквозь сухую солому склон крутого оврага молчаливо застыл, изрезанный, словно морщинами, поперечными овражками, по которым спускаются вниз, словно войско Дмитрия Донского, горящие золотым убранством берёзы.

Вечерами небо часто затянуто, ни одной звезды, только луна мистически пробивается сквозь облака. А ночью, если выйти из дома и закинуть вверх голову, можно увидеть небо, щедро усыпанное звёздами, и все до единой звёзды будут сыпаться на тебя, сцепляясь в созвездия и снова разлетаясь в хаосе белой метели. Заветнейший Орион – сакральное созвездие – сияет наверху собственной персоной. Такой ночью можно «побывать на небесах»...

Перед прощальным, последним выдохом, перед тем, как окончательно уйти со сцены, Осень словно делает шаг назад и дарит воздушный поцелуй, иллюзию, ложную надежду на свой happy end. Это странное, вводящее в заблуждение, обманчивое возвращение ласковой и тёплой погоды называется бабье лето. Осенняя идиллия, картинка рая, откуда-то снизошедшая благодать, когда можно ещё походить в футболке (в середине октября!). Потом резко холодает, утверждается пасмурность, налетает ветер и беспросветно льёт дождь. Начинается холодная осень.

Тяжеловесная осень с её непогодами и тревожно-свинцовое небо вполне сносно воспринимаются в деревне, где нет асфальта и мокрых серых многоэтажек. На разбитой тракторами сельской дороге, где сплошь грязь да лужи, среди скошенных полей в эту пору можно встретить куда-то неспешно бредущего одинокого тургеневского охотника с двустволкой за плечом и породистой длинноухой собакой (не пугайтесь, если собака помчится к вам, – ей нужны не вы, а бутерброды в вашем рюкзаке). Тёплая и сырая земля обычно укрыта туманом; безветренную тишину изредка оскорбляют глухие и далёкие хлопки охотничьих выстрелов. Чтобы поставить точку вместе с Осенью, остаётся укутать, обвязать ельником молодые деревья в уснувшем саду.

Зима

Молчаливое зимнее небо, часто умалчивающее даже о своём солнце!

Не у него ли научился я долгому, светлomu молчанию?

Ф. Ницше

Обвязать и укрыть все деревья, вывезти урожай и остаться в полном одиночестве. Какая красивая убогость вокруг! Какая оставленность, заброшенность, уныние!

Если пытаться нарисовать это состояние глубокой осени (в которое вдруг, изникнув, попала природа), это предсмертное состояние межсезонья, отталкиваться нужно от частицы «не». Замесы серых тонов, уходящие вдаль до горизонта. Нет цвета. Нет жизни, этой летней драки за луч солнца, этого поедания друг друга, размножения, разрастания, копошения. Всё будто замерло в смирении. Тягучий заунывный ветер носится, безраздельно свободный, над сухой травой. Только это движение – воющего ветра, единое на всех. Не течёт сок по стволам, не летают птицы, не ползают жуки, не тянутся вверх стебли. И, на минуту забыв нажитый опыт прошедших лет, как можно ощутить нищетою пяти чувств, что где-то под землёй скапливаются, зреют хтонические силы, неиссякаемые источники жизни, для нового рывка наверх?!

Зима в этом году пришла рано, в первой половине ноября. Двое суток, не прекращаясь, мела метель. Белый снежный туман поглотил всё пространство, лишив видимости. Когда эта мистерия преображения закончилась, мир предстал убелённым. Чёрный фон сменился белым, чистым загрунтованным холстом. Небо по-прежнему оставалось серым, грязные клочья облаков разнообразили пейзаж оттенками серого. Ветер гонял над полем снежную пыль. Поле, ещё

недавно заполненное золотыми колосьями, давшее столько зёрен, крупинок жизни, превратилось в чёрный, а затем в белый квадрат. Белая бесструктурная гладь, над которой носится ветер, – как близко это к началу мира! Глаз, упёршись в белое, обанкрочивает предметность, расстояние, время. Мысль тускнеет и умолкает. Есть только белое, белое ничто, которое, обретая форму, становится квадратом, обрамляется лесом и, обретая имя, становится полем. Бывшим полем Башкатовского совхоза, на котором так и не удалось построить коммунизм...

* * *

Огромный светлый свод, бесплотный и пустой.
Стыл в звёздном холоде – пустая бесконечность,
Столь недоступная для жалобы людской, —
И в зеркале его застыла зримо вечность.

Морозом скована серебряная даль,
Морозом скованы ветра, и тишь, и скалы,
И плоские поля; мороз дробит хрусталь
Просторов голубых, где звёзд сияют жала.

Немотствуют леса, моря, и этот свод,
И ровный блеск его, недвижимый и язвящий!
Никто не возмутит, никто не пресечёт
Владычество снегов, покой вселенной спящей.

Недвижность мёртвая. В провалах снежной тьмы
Зажат безмолвный мир тисками стали строгой, —
И в сердце страх живёт пред царствием зимы,
Боязнь огромного и ледяного бога.

[Эмиль Верхарн]

ноябрь 2007 – ноябрь 2015

Клеймёново

Тютчев и Фет. Почему они названы здесь вместе? Были Пушкин и Лермонтов. Они ушли из жизни, едва почав золотой век. Тютчев и Фет заполнили относительную пустоту в русской поэзии с 1840-х по 1890-е годы. А потом взрыв: Анненский, Блок, Сологуб и все, все, все...

Как скачкообразно развивалась поэзия! Пришёл Пушкин и над мощами классицизма совершил маленькую революцию. Начал писать стихи по-новому. Создал свой язык. Открыл новые темы. Новое звучание.

Лермонтов пережил его всего на четыре года. Потом допевать век остались двое – Фет и Тютчев. Их стих красив, спокоен, романтичен. Наполнен любовью. В нём нет лишней изысканности, нет надрыва. Именно поэтому о них часто забывают, строят мост прямо от Пушкина и Лермонтова к Анненскому и Блоку. Но у Фета и Тютчева есть мысль, глубина и редкое воссоединение всего себя с природой и миром. В этом – правда их поэзии.

Потом пришла Цветаева, и снова – маленькая революция. Совсем другое чувство языка, пластика другая. От медлительных, плавных движений пушкинской речи переход к рваным, коротким, пёстрым цветаевским стихам. От огня к искре.

Но если быть хронологически честным, то следует держать в виду не связку Пушкин – Лермонтов и Тютчев – Фет, но Пушкин – Тютчев, Лермонтов – Фет. Пушкин и Тютчев были ровесниками. Когда Пушкин покорял и насыщал стихами Россию, Тютчев служил чиновником в Мюнхене. Всю пушкинскую эпоху он просидел за границей. Стихи начал печатать уже после смерти Пушкина, как второстепенное занятие...

И всё же снова – Фет и Тютчев. Два голоса, которые заполнили пустоту середины XIX века. Два рубина между золотым и серебряным веком. Они прожили долгую, относительно спокойную жизнь длиной в семьдесят лет, поскольку не были ни «героями», ни «гениями». В «эпоху гениев» никто из поэтов так долго не жил.

Фет неповторим и уникален тем, что был едва ли не единственным русским поэтом, сочетавшим поэзию с хозяйствованием в своём крепостном поместье. Причём помещик он был практичный, успешный, хваткий. Разбирался в сельском хозяйстве. Похоронен Фет под Орлом, в одном из родовых имений – селе Клеймёново. Сейчас там глухая деревня. Среди молитвенного безмолвия русских полей возвышается скромная церковь красного кирпича, окружённая ивами да берёзами. И такая заброшенность, упокоенность, такая простая до неприметности, затаённая красота вокруг, что стихи Фета, оказавшись в своём эпицентре, звучат как нигде и как никогда. Как вечность.

Не жизни жаль с томительным дыханьем,
Что жизнь и смерть? А жаль того огня,
Что просиял над целым мирозданьем,
И в ночь идёт, и плачет, уходя.

22 апреля 2005

Осень

Унылы пасмурные дни —
застыла голая природа.

Так смерть приходит – вон, смотри,
она стоит уже у входа.

А ты, поникший весь, сидишь, —
безмолвны гаснущие очи,
и кажется, что крепко спишь,
и маска пасть с лица уж хочет.

С руки обмякшей тёплый плед
сместился вниз, и обнажилась
синеющая плоть, и лед,
и комната заморозилась, —

и голова наклонена,
как будто силам тяготенья
в минуты гибельного сна
она несёт свои моленья.

Здесь всё сковал покой и мгла
накрыла. Пелена тумана
на два опущенных крыла
надела белые саваны

и ждёт недвижно за спиной
последних слов той жизни тленной,
чтобы забрать её с собой
и раствориться во Вселенной.

15 окт 2012

Дорога

*Дорог полотна расстилаются, сходясь
И снова расходясь вдали бесшумно
Под звёздным небом, неминуемо стремясь
Туда, где ужас ночи ждёт безлунной.*

Эмиль Верхарн

Просёлочная дорога, ведущая к деревне, начинается там, где заканчивается асфальт. Шесть километров вьётся она узкой лентой среди полей, по опушке леса. Ступая на неё, выступая в путь, покидаешь твёрдость асфальта, оставляешь позади последнюю связь с городом, теряешь уверенность во всём, чем раньше мог располагать и на что всегда мог положиться, лишаешься прочности всяких основ. Впереди – зыбь да хлябь просёлка, две истоптанные, разбитые колеи, две неровные, неверные полоски сырой земли (словно растянувшийся до невозможного и сам себя отрицающий знак равенства между двумя противоположными полюсами).

Сколько раз доводилось проделывать этот путь, выхаживая и вышагивая из конца в конец по этой дороге! Сколько раз случалось вязнуть, буксовать, тонуть в грязи и распутице! Дорога настойчиво требует держаться за неё и в то же время сама держит, не пускает. Дорога, что соединяет города и деревни, в той же мере и разъединяет. Становясь бездорожьем, дорога препятствует, отрезает. Дорога ведёт к людям и уводит от людей, в глушь, куда всё трудней и трудней добраться. Такую дорогу, расхлябистую, ухабистую, ненадёжную, полюбит не каждый, не всякий рискнёт связать с ней свою жизнь.

Именно поэтому опустели удалённые деревни. Все семьдесят лет советской власти из окрестных полей вывозилось несметное количество зерна, которое растворялось в желудках городов, но на шесть километров дороги не хватало средств. Вслед за зерном утекали и люди, превращаясь в горожан. Исчезали их избы, забывались их следы, покрывались травой, стирались дождями и распутицей. Опустела, осиротела дорога, но всё же осталась – как метка, как рана, как русло иссякнувшего потока. Осталась такой, какой была изначально, – простой, просёлочной, серой и убогой.

Но сколько оттенков, однако же, кроется в этой серости! Сколько скромного обаяния в редких деревцах, сопровождающих дорогу! Сколько стиснутости, зажатости, обречённости в изгибах колеи, и в то же время – сколько свободы в неспешном убегании вдаль, сколько капризности и своенравия! Сколько живописности сокрыто в этом тихом лежании, расстилании просёлка!

Как терпеливо позировал просёлок художникам – романтикам и передвижникам, реалистам и импрессионистам! Как вдруг в XIX веке он стал главным героем живописи, вытеснив парадный портрет! Стал символом, иконой, истинным портретом души.

Как тщательно и трепетно, с каким вниманием и любовью прописывал Саврасов лужи на измученной, измождённой сельской дороге, сколько красок увидел он в этом хаосе воды и грязи – какой кусочек неба, какой осколок неба разбился и разлился в этом месиве вдоль узкой полоски земли!

Дорога изображалась как путь; у Шишкина дорога тонула во ржи, у Левитана – проходила сквозь игольное ушко ворот; дорога вела к смерти. Дороги ветвились, предлагая выбор, дороги сходились и расходились, неся встречу и разлуку. Дороги перекрещивались. Дороги лучились, тая в себе случай. Наконец, развернувшись во времени, дороги становились *судьбой*.

Когда-то непостижимым образом судьба вывела меня на этот единственный в моей жизни просёлок и тесно переплелась с ним. Именно этому просёлку, ведущему к деревенскому дому, в открытость вида, обязан я многими озарениями.

На этой дороге, между полем и лесом, рождались эти строки; здесь впитывал я прочтённые книги, вслушивался в диалоги Платона и удары молота Ницше; здесь прорывался сквозь толщу хайдеггеровской мысли; здесь я шёл на Восток, зачарованный мудрым созерцающим взглядом Кришнамурти, вбирающим мир «как есть»; здесь «охотился» я, пытаюсь уловить Реальность и разглядеть отражение Истории; здесь я блуждал и заблуждался; здесь пытался совершить побег от навязанного Римом имперского наследия к иному мышлению, к бытию, к живой и разговаривающей Природе древних греков, к архаике.

Гуляя по просёлку и «подсматривая» за Природой, от случая к случаю наблюдал я за тем, как хищный коршун брезгует приближением человека, всегда молчаливо и высокомерно поднимаясь из своего укрытия и исчезая вдаль. Заворожённо следил за бесшумными прыжками лисы – как грациозно и легко, словно ветер, мчится она по вспаханному полю, как развеивается позади неё, словно вечно отстающий мир, пушистый хвост. Как осенью проигравшая схватку жалкая солома уныло жмётся вдоль дороги, и как одинокий василёк в своей уникальности воюет с целым полем однообразной пшеницы, всегда побеждая! Бывало и так, что, погружённый в свои мысли, я случайно поворачивал голову в сторону, и молодой дуб, не сбросивший зимою свою рыжую листву, вспыхивал среди зеленеющего леса невероятной всепробуждающей красотой. В такие моменты я возвращался домой, словно одарённый чем-то, унося в себе отзвук непередаваемой в слове красоты.

Зимой дорогу заметало глубокоим снегом, и деревню отрезало на долгие месяцы. Дачники разъезжались, жизнь замирала. Бывало иногда так, что, переночевав у друзей в городской квартире, напившись чаю под аккомпанемент Шума-на и насладившись беседой, я собирался в путь и шёл, как мне казалось, в никуда, в застывшую белую гладь, столь равнодушную ко всему человеческому. Бывало, что серая мгла затягивала всё небо, и метель, завывая, лепила в лицо почти горизонтально. В такие дни всё пространство казалось единым бесконечным полем, безжизненным и пустым.

Пересекая это белое поле, я всегда нащупывал под снегом дорогу, узнавая её по мелким приметам, по травинкам, пробивающимся сквозь снег вдоль обочины, и дорога вела меня к дому, рассказывая в пути о вечном холоде и пустоте, об абсолютном отсутствии, о состоянии до-воплощённости, до-рождества, о не-существовании вообще, о принципиальном не-со-существовании музыки Шумана с белым полем (таким всеничтожащим, всеуравнивающим, все-ленским, всезвучаще-немым, изначальным, что перед ним всплески чувственных нот превращаются в ничто), о банкротстве высшей человеческой трогательности, о её несостоятельности, о фальшивости её порывов, разоблачённых в безразличности всех заснеженных полей, о малости этой срывающейся и исчезающей капли человеческого тепла перед безбрежным океаном синеющих льдов.

Там, за последним пределом, которого не достигают даже самые душераздирающие крики, царствует белое поле, заполненное тишиной и снегом. Оно каждый год заполняется тем же снегом и той же тишиной и не хранит никаких человеческих следов.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.